МАКСИМ ПРИКОТА

МИМО



Кому везёт — того везут.
А ты иди сам.

Максим Прикота

Мимо

«Автор»
2026

Прикота М.

Мимо / М. Прикота — «Автор», 2026

Артёму Сухареву не везёт с первой минуты: он родился в ночь, когда в роддоме погас свет. Отец ушёл и прихватил его копилку. Отчим переселил на кухонный диван. Лучший друг предал на глазах у всего класса, первая любовь высмеяла его записку на выпускном, хозяин автосервиса повесил на него чужую аварию. Он уезжает в Москву — в первую неделю карантина. Находит любовь, открывает с другом своё дело — и теряет обоих в один день. Возвращается домой ухаживать за больной мамой — и узнаёт, что квартиры у него больше нет. Артём ведёт «статистику» своих неудач в тетради в клетку. Он пробует снова и снова — и снова мимо. Это роман не о том, как неудачник сорвал джекпот. Это история о том, что человек — не сумма его неудач.

© Прикота М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Сто рублей 7
Часть первая. Гараж №47 10
Глава 1. Миллениум 10
Глава 2. Кому везёт 14
Глава 3. Сухарь 18
Глава 4. Дядя Витя 23
Глава 5. Ноябрь 27
Часть вторая. Подслушано Ржавск 31
Глава 6. Новенький Лёха 31
Глава 7. Олимпиада 35
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Максим Прикота
Мимо

Мимо
Роман

Максим Прикота
2026

Оглавление
Пролог. Сто рублей
Часть первая. Гараж №47
Глава 1. Миллениум
Глава 2. Кому везёт
Глава 3. Сухарь
Глава 4. Дядя Витя
Глава 5. Ноябрь
Часть вторая. Подслушано Ржавск
Глава 6. Новенький Лёха
Глава 7. Олимпиада
Глава 8. Записка
Глава 9. Сам виноват
Часть третья. Технарь
Глава 10. Общага
Глава 11. Набор головок
Глава 12. Мимо даже туда
Глава 13. Сто восемьдесят
Глава 14. Карантин
Глава 15. Текстильщики
Часть четвёртая. Москва
Глава 16. Ковчег
Глава 17. Настя
Глава 18. Свадебный счёт
Глава 19. Колесо
Глава 20. Сезон
Глава 21. Не сосчитать
Глава 22. Отец
Часть пятая. Дно
Глава 23. Собеседования
Глава 24. Регистратура
Глава 25. Дарственная
Глава 26. Мост
Глава 27. Михалыч
Часть шестая. Пешком
Глава 28. Альфа
Глава 29. Подвеска
Глава 30. Тверь

Эпилог. Пешком

Пролог. Сто рублей

Для стирания у меня отдельная монетка. Обычный рубль, новый, с двуглавым орлом, края уже стёрты до блеска. Дедов рубль для такого не годится. Дедов рубль вообще ни для чего не годится, кроме как лежать в кармане. Но про это потом.

Билет «Моментальная лотерея», сто рублей, куплен в киоске у автостанции, где продавщица Люда знает меня в лицо и всякий раз говорит: «Ну, удачи». Говорит без издёвки. Она вообще добрая, Люда. Просто работа у неё такая — желать удачи людям, которые потом уходят ни с чем.

Я стираю его на столе под лампой. Стол — это доска на двух табуретках, лампа — с прищепкой, прицеплена к полке. Комната в бараке у депо, Деповская, семь, второй этаж, крайняя дверь. Семь тысяч в месяц, вода в коридоре, туалет тоже в коридоре, зато окно выходит прямо на пути. Когда идёт товарный, стакан на подоконнике едет к краю, и я его ловлю. За девять месяцев не уронил ни разу. Если подумать, это мой самый длинный успех за последние лет десять.

Серебристый слой скатывается в крошки. Под ним — цифры. Чтобы выиграть, нужно три одинаковые суммы в одном поле.

Двадцать рублей. Пятьсот. Сто. Десять тысяч. Двадцать. Пятьдесят. Тысяча.

Одна двадцатка — две. Третьей нет.

Пусто.

Я смахнул крошки ладонью в мусорное ведро и положил билет в тетрадь, между страницами. Там их уже много. Если тетрадь потрясти, они шуршат, как сухие листья.

* * *

Сразу скажу, чтобы не было недоразумений: я не жалуюсь.

Я веду статистику.

Это разные вещи. Жалуются, когда ждут, что кто-то услышит и пожалеет. А статистику ведут, чтобы знать. Как дед вёл тетрадь по «Москвичу»: дата, пробег, что заменил, сколько стоило. Если ведёшь честно, через несколько лет машина сама рассказывает тебе, где у неё слабое место.

У меня тетрадь в клетку, сорок восемь листов, обложка с котёнком — другой в киоске не было. Начата давно. Вот что в ней накопилось к ноябрю две тысячи двадцать шестого года.

Лет мне двадцать шесть. Родился я первого января двухтысячного года, но полгода по документам считался родившимся тридцать первого декабря девяносто девятого. Так что я с самого начала опоздал в собственный век.

Людей, которые меня предали, — я считаю по случаям, а не по людям, — набралось четырнадцать. Один человек отметился три раза. Ещё один — дважды, с перерывом в восемнадцать лет. Это я называю постоянством.

Денег я потерял миллион семьсот двадцать одну тысячу сто тридцать рублей. Квартиру не считаю, квартиру я так и не научился записать в столбик. Первая строчка в денежной графе — тысяча сто тридцать рублей мелочью. Последняя — шестьсот тысяч под двадцать восемь процентов годовых. Обе записаны на одного и того же человека. Мне иногда кажется, что это даже красиво: как будто жизнь построена по правилам и знает, где у неё рифма.

Мне обещали работу — твёрдо, «приходи в понедельник», «место твоё», — двадцать три раза. Взяли по-настоящему пять. Один раз меня не взяли даже туда, куда берут всех.

Лотерейных билетов куплено сто сорок семь. Выигрыш один — пятьдесят рублей. Я тогда испугался. Как выяснилось, правильно.

Скорая к моему деду ехала пятьдесят минут.

Это, пожалуй, всё, что надо знать для начала. Остальное — по ходу.

* * *

Вы спросите: зачем тогда покупать билеты, если считать умеешь? Я и сам себя спрашивал. Ответ такой: я не играю. Я проверяю. Раз в неделю я трачу сто рублей, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Что мир устроен так же, как вчера, и я в нём на своём месте — на том, мимо которого всё проезжает.

Это успокаивает. Честно. Когда знаешь, что не выиграешь, не надо надеяться. А надежда — самое дорогое, что у меня было. Дороже шестисот тысяч под двадцать восемь процентов.

За окном прошёл товарный. Стакан поехал. Я поймал.

Рука по привычке полезла в правый карман куртки. Там, на подкладке, протёрто круглое место размером с рубль. Четырнадцать лет монета лежала в этом кармане, а до того — в другом, на другой куртке, а до того — в банке с болтами. Я трогал её, когда врал учителям, что всё нормально. Когда сидел в автозаке... нет, вру, в автозаке я не сидел, я сидел в коридоре у следователя, это скучнее. Когда подписывал кредитный договор. Когда стоял на мосту.

Сейчас монеты в кармане нет.

Я знаю, где она. Это, может быть, единственная строчка во всей моей статистике, про которую я точно знаю, где что лежит и почему.

* * *

Телефон зажужжал на доске и пополз, как стакан. У меня старый «Редми» с трещиной через весь экран, трещина идёт наискосок и делит любое сообщение на две половины: до и после.

«Тёма Тёма мы прошли!!!»

Это Дима. Ему тринадцать. Он живёт с бабушкой в пятиэтажке у моста и пишет без запятых, зато с тремя восклицательными знаками, потому что меньше, по его мнению, не считается. Про него будет в самом конце — не потому что он неважный, а потому что он появился в моей жизни поздно. Всё хорошее в моей жизни появлялось поздно. Или уходило рано. Иногда — и то и другое сразу.

Под первой строкой было ещё что-то: превью обрезалось на полуслове, и трещина резала текст пополам. Я видел «и бабушка…» и дальше серую полосу.

Я не стал открывать.

Положил телефон экраном вниз и накрыл ладонью, как кладут руку на голову собаке, чтобы не прыгала.

Объясню. Хорошего в моей статистике мало, и его надо растягивать. Как дед растягивал последнюю пачку «Примы» до получки — по полсигареты, вторую половину за ухо. Хорошее сообщение — это как письмо, которое ещё не распечатано. Пока не распечатано, в нём может быть что угодно. Я двадцать шесть лет открывал конверты сразу. Хватит.

Чайник на плитке зашумел. Я выключил. Чай заваривать не стал.

Сел обратно к столу, к тетради с котёнком, к крошкам серебристого слоя, которые не до конца смахнул.

* * *

Знаете, как люди рассказывают про свою жизнь? Обычно начинают с хорошего. «Я родился в простой семье». «У меня было счастливое детство». Как будто извиняются заранее за то, что будет дальше.

Я так не умею. Я умею как в заказ-наряде: что пришло, в каком состоянии, что сделано, что заменено, что не подлежит ремонту. Без украшений. С суммами.

И начинать надо, как дед учил, с самого начала — не с того места, где стучит, а с того, откуда идёт. Если в машине стук, ты не лупишь по месту, где стучит. Ты ищешь, где он рождается.

Мой стук родился ровно в ноль часов сорок минут первого января двухтысячного года, в родильном отделении Ржавской центральной районной больницы.

Тогда как раз выключили свет.

Часть первая. Гараж №47

Глава 1. Миллениум

Ржавск встречал двухтысячный год так, как будто конец света всё-таки отменили, но в последний момент и не насовсем.

Все ждали, что в полночь компьютеры сойдут с ума и самолёты попадают. Компьютеров в Ржавске тогда было штук двадцать, самолётов ни одного, поэтому город решил подстраховаться и просто выпить. Днём по телевизору Ельцин сказал, что уходит, и никто толком не понимал, радоваться или бояться. На всякий случай делали и то и другое.

Мама рассказывала мне эту ночь каждый Новый год. Я знаю её наизусть, со всеми паузами.

Схватки начались в девять вечера, за салатом. Отец к тому моменту был уже «хорош», поэтому повёз сосед на «копейке», а отец остался «встречать гостей». В родильном дежурили акушерка тётя Галя и молодой врач по прозвищу Студент. В палате над мамой играло радио. Пели «Иванушки».

В ноль часов сорок минут в Заводском районе выбило подстанцию. Полгорода одновременно включило чайники, и старый трансформатор, ровесник вагоноремонтного завода, решил, что с него хватит.

Стало темно и тихо. «Иванушки» замолчали на полуслове.

Тётя Галя не растерялась. У неё в кармане халата был фонарик-«жучок» — такой, у которого сбоку ручка, и её надо жать, чтобы внутри крутилась динамо-машинка и горела лампочка. Она сунула фонарик Студенту и сказала: «Жми и свети, куда скажу». И Студент жал. Мама говорит, что звук этот — вжик, вжик, вжик — она помнит лучше, чем боль. Я появился на свет под жужжание ручного фонарика, в луче шириной с ладонь, который дрожал, потому что у Студента от волнения тряслись руки.

Мама всегда заканчивала одинаково: «Повезло, что фонарик был».

Я долго думал, что это и правда везение. Потом понял, что везение — это когда свет не выключают.

* * *

Тётя Галя записала меня в журнал при том же фонарике. Журнал лежал открытым на странице тридцать первого декабря — новую страницу в новогоднюю ночь никто не начинал, все праздновали. Она вписала фамилию матери, вес — три сто, рост — пятьдесят один, время — ноль сорок. Дату сверху менять не стала. Она её и не видела.

Утром свет дали. Журнал переписали в справку, справку — в свидетельство о рождении. В свидетельстве было написано: тридцать первое декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года.

Так я родился в двадцатом веке, хотя опоздал в него на сорок минут.

Исправляли полгода. Мама с кульком, то есть со мной, ходила из ЗАГСа в больницу за выпиской из журнала, а в журнале стояло тридцать первое, и ей говорили: «Ну вот же, тридцать первое, что вы хотите». Мама объясняла про свет. Ей отвечали, что на свет справку не дают. Потом тётя Галя писала объяснительную на имя главврача, а главврач был в отпуске, потом на рыбалке, потом просто не подписывал. В июне подписал.

Отец во всём этом не участвовал. Он вообще не любил очередей.

* * *

Мы жили на улице Заводской, дом четырнадцать, в двушке на четвёртом этаже. Пятиэтажка из серого кирпича, балкон с видом на трубу завода, которая тогда ещё дымила. Мама

работала медсестрой в районной поликлинике, приходила домой с запахом хлорки и усталым лицом, которое у неё всегда было одинаковым — и в тридцать, и в пятьдесят.

Отец работал бизнесменом.

Так он сам говорил: «Я бизнесмен». Сергей Ковальчук, высокий, кудрявый, с ямочкой на подбородке и голосом, от которого продавщицы на рынке начинали поправлять волосы. Сначала он возил из Москвы видеокассеты — пиратские боевики в коробках с переклеенными обложками, Ван Дамм с лицом Шварценеггера. Потом, когда кассеты кончились, стал возить телефоны — «Нокии», «Сименсы», какие-то китайские с антенной, которые звонили, только если стоять на балконе.

Поженились они, когда мне был год. Мама стала Ковальчук, а я остался Сухаревым: отец всё собирался сходить в ЗАГС и переделать мне документы. «Успею», — говорил он. Он вообще многое собирался успеть.

Отец приносил в дом всё подряд. Видеомагнитофон «Фунай» с «Терминатором» в гнусавом переводе. Кота. Кота он принёс в шапке, рыжего, полосатого, и сказал: «Это Бакс. Он к деньгам». Бакс прожил у нас девять лет и никаких денег не принёс, зато научился открывать холодильник.

А ещё отец приносил долги. Они приходили сами, вечерами, в кожаных куртках: «Серёга дома?» Мама говорила, что нет. Иногда это была правда.

Самым большим отцовским приношением был телевизор «Самсунг». Двадцать девять дюймов, плоский экран — не по-настоящему плоский, просто кинескоп был не такой выпуклый, но тогда это называли плоским. Отец втащил его в квартиру летом две тысячи четвёртого, поставил на тумбу, обмахнул рукавом и сказал: «Вот. Как у людей». Евро, Греция выиграла. Отец сказал, что это знак: «Никто не верил, а они взяли. Так и мы, Тёмыч. Мы с тобой ещё всех сделаем».

Я ему верил. Он был самым красивым человеком, которого я видел. Он пах одеколоном «Арамис», подбрасывал меня под потолок и называл «бизнесменом номер два». Если он обещал, что летом поедем на море, я рассказывал в садике, что летом поедем на море. Мы не ездили. В следующий раз я всё равно рассказывал.

Тогда я ещё не знал, что из этих обещаний можно было бы построить отдельную пятиэтажку. С балконами.

* * *

У меня была свинья.

Копилка, розовая, пластмассовая, с прорезью на спине и пробкой в животе. Мне её подарил дед Паша на пятый день рождения и сказал: «Будешь копить на что-нибудь стоящее. Не на ерунду». Я долго думал, что стоящее, и наконец решил.

В «Детском мире» на Советской в витрине стоял конструктор: железный, с настоящими гайками и электромоторчиком, из него собирался подъёмный кран или вертолёт с винтом. Тысяча четыреста девяносто рублей. Продавщица меня запомнила и однажды разрешила подержать коробку. Коробка была тяжёлая. Внутри что-то позвякивало — это и было самое лучшее, это звяканье.

Я копил полтора года. Мелочью. Сдача от хлеба. Десятки от деда — он давал их «за работу»: подержал фонарь, отсортировал болты. Однажды я нашёл пятьдесят рублей в луже и три дня сушил их на батарее.

Каждое воскресенье я высыпал всё на ковёр и раскладывал столбиками по десять. В июне две тысячи шестого у меня было тысяча сто тридцать рублей. Оставалось триста шестьдесят. Я рассчитал, что к сентябрю успею.

Отец садился рядом на корточки: «Ну ты Центробанк, Тёмыч». Один раз взял столбик пятаков, подкинул на ладони и положил обратно.

Я запомнил, что он положил обратно. Мне потом долго казалось, что это важно.

* * *

В конце мая отец купил мне велосипед.

Подержанный «Стелс», синий, с боковыми колёсиками. Тогда отец вообще стал чаще шутить и чаще уходить вечером «по делам». Мама хмурилась. Он целовал её в висок: «Ир, ну всё нормально будет».

В первую субботу июня он вывел меня во двор, сел на корточки перед велосипедом и открутил боковые колёсики. Пассатижами, прямо там, на асфальте.

— Мужики на четырёх не ездят, — сказал он.

Я испугался. Я сказал, что упаду.

— Упадёшь, — согласился отец. — Все падают. Потом встают. Садись. Я держу.

Он бежал рядом, держа за седло, и я слышал за спиной: «Держу, держу, крути». На повороте я оглянулся.

Он стоял у второго подъезда. Далеко. Хлопал в ладоши.

Я ехал сам. Я уже давно ехал сам, а он кричал «держу», стоя на месте.

Я тогда не упал — испугался, но не упал. Доехал до конца дома, поставил ногу на асфальт и обернулся, и отец бежал ко мне с поднятыми руками, как будто это он выиграл Евро.

— Вот! — кричал он. — Я же говорил! Бизнесмен номер два!

Вечером мы сидели на балконе, он с пивом, я с компотом.

— Завтра на рыбалку поедем, — сказал отец. — На Ржавку, к мосту. Там под опорами лещ стоит, я знаю место. В шесть утра выходим. Мужики на рыбалку рано ходят.

Он вынес из комнаты удочку. Новую, телескопическую, в чехле. Раздвинул до потолка балкона и сложил.

— Твоя, — сказал он. — Личная. В шесть, Тёмыч. Не проспи.

Я лёг в девять, сам. Удочку поставил у кровати.

* * *

Проснулся я в половине шестого, сам, без будильника. В квартире было светло и тихо — июньское утро, солнце уже на стене. Я оделся, натянул кепку, взял удочку и вышел в коридор.

Первое, что я заметил, — что в большой комнате пусто.

Не совсем пусто. Диван на месте, стенка на месте, ковёр. Но на тумбе, где стоял «Самсунг», был только прямоугольник. Чистый прямоугольник на пыльной полировке, ровно по форме телевизора. Как след от человека на снегу. Из розетки торчал удлинитель с пустым гнездом.

Второе, что я заметил, — что свиньи нет.

Она стояла у меня на полке, между машинками и книжкой про динозавров. Теперь между машинками и книжкой про динозавров было место. Он её не разбил. Он не высыпал деньги и не оставил её пустой. Он её унёс целиком, вместе с пробкой, как будто она была живая и её нельзя было бросить.

Я тогда почему-то подумал именно это: что он её пожалел.

Мама сидела на полу на кухне.

Не на стуле, не на табуретке. На полу, на линолеуме, спиной к холодильнику, в ночной рубашке, поджав колени. Перед ней стояла чашка с чаем, нетронутым, с плёнкой. Бакс сидел рядом и смотрел на неё. Кота отец не взял. Кота не продашь.

— Мам, — сказал я. — А где папа? Мы на рыбалку.

Она подняла голову. Я никогда не видел у неё такого лица. Оно было не заплаканное — сухое, как будто из него что-то вынули, как из розетки.

— Тёма, — сказала она. — Иди спать.

— Уже шесть, — сказал я. — Мы в шесть договорились.

Она ничего не ответила. Потом протянула руку, и я подумал, что она хочет меня обнять, и подошёл. Но она просто взяла у меня удочку, сложила её до конца, до самого короткого колена, и положила на пол рядом с собой.

— Иди, сынок. Ложись.

Я не пошёл. Я сел на табуретку у окна и стал смотреть во двор. Оттуда было видно дорогу до остановки и кусок моста над Ржавкой.

Отец мог просто уехать по делам и забыть. Он часто забывал. Но всегда возвращался, хоть ночью, с мандаринами, и говорил «прости, бизнесмен, дела».

Я ждал до восьми. Потом мама встала с пола и пошла на работу, потому что в поликлинике никто не отменял приём. Перед уходом она вернула мне удочку. Ничего не сказала, просто положила на табуретку.

* * *

На следующее утро я проснулся в половине шестого. Оделся, взял удочку и сел у окна.

И на следующее.

Мама не запрещала. На третий день она остановилась в дверях, открыла рот — и закрыла. Ушла в ванную, и там долго лилась вода.

Я сидел у окна с шести до восьми. Иногда по дороге шёл высокий мужчина, и сердце подпрыгивало до горла, а потом мужчина подходил ближе и оказывался чужим.

На четвёртый день я сходил в ванную проверить «Арамис». Одеколона не было. Не было и бритвы, и кроссовок «Адидас», которые отец мыл каждый вечер щёткой.

Я вернулся к окну и сел. Складывать я в шесть лет умел, а тут всё складывалось очень просто. Но я сидел. Мне казалось, что если я перестану ждать, то это будет уже окончательно. А пока я жду — ещё нет. Пока удочка у меня в руках, рыбалка просто откладывается.

Я и сейчас иногда так делаю. Покупаю билет, чтобы проверить. Только теперь честно знаю, что проверяю.

* * *

Он не вернулся ни на пятый день, ни на шестой.

На седьмой день, в воскресенье, я сидел у окна с шести утра, как на работе. Удочка стояла между коленями. Чехол я так ни разу и не снял. Бакс лежал на подоконнике и грел на солнце живот.

Внизу, у подъезда, остановился старый «Москвич» цвета морской волны. Из него вылез человек в кепке и рабочей куртке, хотя было воскресенье. Он не пошёл в подъезд. Он задрал голову и долго смотрел на наше окно. Прямо на меня.

Потом закурил, медленно, как курят люди, которые никуда не торопятся, потому что уже всё решили.

Это был мой дед, Павел Егорович Сухарев. И через десять минут, докурив, он поднялся на четвёртый этаж и сказал, что окно без меня постоит.

Глава 2. Кому везёт

Гараж номер сорок семь пах так, что я до сих пор могу закрыть глаза и собрать этот запах по деталям, как двигатель на верстаке.

Солярка — это основа. Сверху — машинное масло, тёплое, сладковатое. Потом «Прима»: дед курил её у ворот, но дым всё равно затягивало внутрь. Потом яблоки. Осенью дед привозил их с дачи в багажнике и раскладывал на газетах по полкам, антоновку отдельно, белый налив отдельно, и до самой весны в гараже пахло так, будто где-то рядом сад.

Кооператив «Мотор» стоял у самой железки, за вагоноремонтным заводом. Два ряда кирпичных боксов и лужи, которые не высыхали даже в августе. Когда шёл поезд, ворота гудели, как струны. Ворота у деда были выкрашены суриком, а цифры «47» он сам нарисовал белой краской через трафарет, и у семёрки была кривая ножка, потому что трафарет он вырезал ножом, а нож соскочил.

— Ничего, — сказал дед, когда я про это спросил. — Своё узнаешь и кривое.

* * *

В первый день он ничего мне не объяснял. Посадил на перевёрнутый ящик у верстака, включил радио, а сам полез под «Москвич».

Радио было старое, «Альпинист», в кожаном чехле. Играл «Маяк», пикал точное время. Дед иногда подпевал из-под машины. Не словами — гудел.

«Москвич-412» был цвета морской волны, семьдесят девятого года выпуска, с хромированными ручками и оленем на капоте. Дед перебрал его «до последнего винтика два раза, а некоторые винтики и три». Машина заводилась с первого раза в любой мороз. Это было единственное, что в нашей семье работало без перебоев.

Я сидел на ящике и ждал, что он начнёт разговаривать со мной про папу. Все в ту неделю пытались: соседка, воспитательница, мамина подруга. Одинаковым мягким голосом, как будто я заболел.

Дед не говорил. Через час он высунулся из-под «Москвича» и сказал:

— Дай-ка на десять.

Я не понял. Он показал на ящик с инструментами. Ящик был железный, синий, с откидными ярусами, полный ключей. Я взял первый попавшийся и протянул.

— Это двенадцать, — сказал дед. — А надо десять.

Я взял другой.

— Это четырнадцать.

Я покраснел. Он взял у меня ключ, положил обратно в гнездо и вынул два, совсем похожих. Положил мне на ладони, по одному на каждую.

— Смотри. Вот десятка. Она худенькая, как ты. Вот двенадцать, она потолще, плечистая. На каждом выбито, видишь — цифра. Но ты на цифру не смотри. Ты руками запомни. Глаза обманут, руки нет.

Я держал ключи. Десятка была легче, это правда. Если закрыть глаза, разница чувствовалась — небольшая, как между двумя похожими камешками.

— Закрой глаза, — сказал дед. — Я тебе перемешаю.

Я угадал. Угадал снова. На пятый раз ошибся, и дед сказал: «Ничего. Руки ещё не проснулись». К вечеру я с закрытыми глазами отличал восьмёрку, десятку, двенадцать и тринадцать. Тринадцать — самый вредный: он почти как двенадцать, только чуть тяжелее и как будто злее.

Мама пришла за мной в семь, увидела мои руки, чёрные по локоть, и сказала: «Пап, ну ты что». Дед пожал плечами:

— Отмоется. Ты отмылась.

Мама промолчала. Она в детстве тоже сидела в этом гараже. Я узнал об этом только тогда — и почему-то очень удивился, что у неё было детство.

* * *

Я ходил к деду всё лето, кроме дней, когда он был в смене. Завод тогда ещё работал, с задержками зарплаты, и дед был там слесарем шестого разряда, что, как я потом понял, примерно как генерал.

Утром я больше не садился к окну. Удочка стояла в углу коридора в чехле. Я её не трогал и не выбрасывал. Просто обходил.

Дед учил без лекций. Давал в руки, и я делал. Если не получалось — брал мои руки в свои. Руки у него были как наждак, с чёрными трещинами, которые не отмывались даже после бани.

— Деда, а тебе не больно?

— Больно. Я просто привык не показывать. Гайке всё равно, больно мне или нет.

Он говорил мало. Но если говорил, то так, что запоминалось. Самое главное, что он мне сказал за то лето, было про сломанное.

Мы разбирали старый карбюратор от «Москвича». Карбюратор был весь в чёрной корке, внутри что-то болталось и не работало. Я спросил, зачем его разбирать, если он сломан, — может, проще выкинуть.

Дед отложил отвёртку.

— Сломанное, Тёма, — оно честное, — сказал он. — Оно тебе всё показывает. Вот, смотри: тут засор, тут иголка стёрлась, тут прокладка рассохлась. Всё видно. Всё можно понять, если не торопиться. Врёт только целое. Целое блестит и молчит, а что у него внутри, ты не знаешь, пока не поедет.

Я тогда не понял, что он говорит не только про карбюратор.

Потом понял. Я вообще многое у деда понимаю с опозданием лет на десять. Он как будто оставлял мне записки на будущее, в карманах, в которые я ещё не дорос.

* * *

В июле я привёз в гараж велосипед.

Тот самый синий «Стелс», на котором меня учил кататься отец. Я на нём не ездил с того дня. Потом однажды всё-таки сел, проехал до гаражей, и цепь слетела: одно звено разорвано.

Два километра до кооператива я вёл его за руль. Цепь волочилась и звенела.

Дед посмотрел на велосипед. Посмотрел на меня.

— Сам будешь, — сказал он.

— Я не умею.

— Вот и научишься. Я покажу один раз. Потом ты.

Он поставил велосипед вверх колёсами на верстак. Положил цепь на тиски. Взял бородок — такой железный стержень с плоским концом — и молоток. Показал, как выбить ось из звена: не до конца, а чтобы она чуть держалась, иначе обратно не вставишь. Тук, тук, тук. Всё.

— Теперь ты.

Я выбивал эту ось сорок минут. Сначала попадал по пальцам. Потом выбил до конца, и ось улетела под верстак, и мы искали её на четвереньках с фонариком, и дед говорил только «ищи, она маленькая, но не дура, далеко не ушла». Нашли в банке с болтами — отскочила туда, как в кольцо. Дед сказал, что это хорошая примета, и засмеялся. Я в первый раз слышал, как дед смеётся. Он смеялся, как кашлял: коротко и в кулак.

Когда я снял разорванное звено, соединил цепь и вбил ось обратно, руки у меня были чёрные до плеч, одна костяшка сбита в кровь, а на лбу, как мне потом сказала мама, был отпечаток пятерни в мазуте.

Дед надел цепь на звёздочку. Крутанул педаль. Колесо зашуршало, ровно, без щелчков.

— Ну, — сказал дед. — Твоя работа.

Я смотрел, как крутится колесо. Может быть, так: всё лето вещи в моей жизни исчезали. Телевизор, свинья, отец, одеколон, кроссовки «Адидас». А тут вещь была сломана — и вот она снова целая. И это сделал я. Своими руками, сбитыми в кровь.

Когда я поехал домой на этом велосипеде, у меня тряслись руки. Не от страха. От чего-то другого, для чего у меня тогда не было слова.

* * *

Вечером того же дня мы сидели у ворот гаража. Дед на табуретке, я на ящике. Он курил, я ел яблоко. Мимо прошёл товарный, вагонов на шестьдесят, я считал.

— Деда, — сказал я. — А мне повезёт?

Мама говорила подругам по телефону про отца: «Не повезло нам с ним». Я много раз слышал это через стенку. Как будто отец — это лотерея, и мама вытянула не тот билет. И я подумал: если ей не повезло, то и мне, наверное, тоже. Я ведь тоже из этого билета.

Дед долго молчал. Докурил до самых пальцев. Потом сказал:

— Мой отец ушёл, когда мне было четыре.

Я не знал. Мне казалось, что дед так и появился — сразу в кепке и с ключом на десять.

— В пятьдесят втором, — сказал дед. — Уехал на Север, за длинным рублём. Обещал вызвать нас с матерью, как устроится. Письмо прислал одно, из Воркуты. И всё. Мать нас троих подняла одна. Я в четырнадцать пошёл в училище, при заводе. Потом на завод. Так и пошло.

— Он не вернулся?

— Не вернулся. Я потом узнавал. У него там другая семья была. Нормально жил.

Он сказал это так спокойно, что мне стало страшно. Как про погоду, которая была давно.

— А ты на него злишься?

— Злился. Долго. Потом перестал. Злость, Тёма, она как ржавчина. Ты думаешь, ты ею того человека ешь. А она тебя ест. Его-то там нету.

Он бросил окурок, растоптал его сапогом.

— А повезёт тебе или нет, — сказал он, — я тебе так скажу. Я много на кого смотрел. На заводе, в армии, тут, в кооперативе. Есть люди, которым везёт. Им всё само в руки. И знаешь, что я заметил? Кому везёт — того везут. Их везёт кто-то: отец, начальник, жена, случай. А как перестанут везти — они и сидят посреди дороги. Не умеют сами.

Он посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, почти белые, выцветшие, как старая рубашка.

— А ты иди сам, — сказал он. — Тебя везти некому. Значит, будешь ходить. Это лучше. Ноги крепче.

Мне было шесть, и мне хотелось, чтобы меня везли. Чтобы кто-нибудь большой бежал сзади и держал седло.

Но я запомнил. Слово в слово. «Кому везёт — того везут. А ты иди сам». Я потом много лет повторял это про себя, и в хорошие дни это звучало как совет, а в плохие — как приговор. Сейчас звучит как-то посередине.

* * *

Монету он отдал мне в конце августа, в последний день перед тем, как я пошёл в садик в подготовительную группу.

Мы мыли руки у бочки с дождевой водой. Дед вытер ладони о штаны и вынул из нагрудного кармана что-то, завёрнутое в промасленную тряпку.

— На, — сказал он.

Я развернул. Там был рубль. Большой, тяжелее обычного, светлый, с Лениным в профиль. Ленин смотрел вбок, а не на меня, и лоб у него был стёрт до блеска. По краю шла надпись: «Сто лет со дня рождения». И даты: 1870–1970.

— Мне его на заводе дали, — сказал дед. — В семидесятом, к премии. Тогда всем давали, кто план выполнил. Я его тридцать шесть лет таскаю. Теперь твой.

— На удачу? — спросил я. Я знал, что в карманах носят на удачу. Мама носила в кошельке какую-то копеечку с дыркой.

Дед покачал головой.

— Не на удачу. Удачи, Тёма, я тебе сказал, не бывает. Чтоб помнил, что ты не один.

Я зажал монету в кулаке. Она была тёплая, от дедовой груди, и рубчатый край впивался в ладонь.

— Понял?

— Понял.

— Ну и всё.

Монету я в тот вечер так и не выпустил из руки. Спал с зажатым кулаком. Утром на ладони остался красный кружок.

* * *

Тем летом с мамой тоже что-то происходило, только я не обращал внимания. Я был в гараже.

Она стала красить губы. Купила белые босоножки на каблуке. Вечерами уходила с телефоном на балкон, закрывала дверь и там смеялась. Тихо, как будто ей было стыдно.

Один раз, когда она пришла за мной в гараж, дед вышел к ней за ворота и сказал негромко, но я услышал:

— Ирка, ты не торопись.

— Пап, мне тридцать один год, — ответила мама. — Мне что, одной теперь всю жизнь? С ребёнком? На мою зарплату?

— Я не про одной. Я про не торопись.

— Он нормальный. Он военный был. Порядок любит.

— Порядок, — повторил дед. И больше ничего не сказал. Только плюнул в сторону и ушёл обратно к машине.

Я подумал, может, папа вернулся и стал военным. В шесть лет многие глупости кажутся рабочей версией.

* * *

«Он» пришёл к нам в воскресенье, тридцать первого августа.

Я вернулся из гаража грязный, довольный, с монетой в кармане шорт. Поставил «Стелс» в коридоре рядом с удочкой.

В коридоре стояли чужие ботинки. Огромные, чёрные, начищенные до зеркального блеска. Рядом — спортивная сумка, набитая так, что молния не сходилась.

Из кухни пахло жареной картошкой и мужским одеколоном. Не «Арамисом». Другим, резким, как в парикмахерской.

Мама вышла из кухни. В новом платье, с накрашенными губами, с полотенцем в руках. За ней вышел человек.

Он был не высокий, как отец, а именно большой — широкий, с короткой шеей и стриженным под машинку затылком. В тельняшке. Он посмотрел на меня, потом на велосипед, стоявший поперёк коридора, потом на удочку. Потом снова на меня.

— Это чьё в проходе стоит? — спросил он. Не зло. Деловито. — Непорядок.

Мама положила руку мне на плечо. Рука была влажная от полотенца.

— Тёма, — сказала она весёлым, чужим голосом. — Это дядя Витя. Он будет с нами жить.

Я сунул руку в карман и сжал монету так, что рубчатый край врезался в пальцы.

Глава 3. Сухарь

Первого сентября две тысячи шестого года, в шесть лет и восемь месяцев, я пошёл в первый класс в куртке, у которой было прошлое.

Куртку мама купила на рынке, в павильоне «Одежда из Европы», где всё продавалось на вес и пахло так, будто Европу перед отправкой продезинфицировали. Куртка была мужская, тёмно-синяя, с бирочкой «Made in Bangladesh». Мама неделю вечерами её укорачивала и ушивала, но рукава всё равно остались длинноваты, и пальцы высовывались из них, как черепашьи головы.

— На вырост, — сказала мама. — Года на три хватит.

Хватило на четыре. Каждую осень мама распускала рукава на сантиметр, как годовые кольца.

Пуговицы на куртке были разные: две чёрные и одна серая. Я этого не замечал, пока девочка в белых бантах не сказала на линейке: «Мам, а у мальчика пуговицы разные». До конца линейки я держал руку на серой пуговице.

Ещё у меня были дедовы гладиолусы в газете «Ржавский вестник» — красные пики выше меня ростом.

* * *

Школа номер два — жёлтая, с гипсовым пионером над дверью, у которого давно отбили горн, и теперь он просто стоял с поднятой рукой, как будто голосовал «за». Учительница, Нина Васильевна, маленькая и строгая, завела нас в класс и стала зачитывать список.

— Абрамова Ксения.

— Здесь.

— Бурлаков Алексей.

Тишина.

— Бурлаков? Нет Бурлакова. Ладно. Гаврилов Денис…

Она дошла до буквы «С» минут через пять.

— Сухарев Артём.

— Здесь, — сказал я.

И с задней парты, громко, на весь класс, кто-то сказал:

— Сухарь!

Засмеялись все. Даже, кажется, Нина Васильевна — она отвернулась к доске, но плечи у неё дрогнули.

Так это и прилипло — за три секунды, до первого урока. Если разобраться, не обидно: сухарь — просто хлеб, который долго лежал. Но у тридцати первоклассников это звучало так, будто меня забыли в хлебнице.

Через полчаса дверь открылась, и вошёл рыжий.

* * *

Рыжий был настолько рыжим, что казалось, у него на голове что-то горит. Веснушки даже на ушах. Пиджак, купленный вчера и уже порванный на кармане.

— Я Бурлаков, — сказал он Нине Васильевне. — Я опоздал, потому что мы с батей кота спасали. Он на дерево залез.

— Кто, батя? — спросила Нина Васильевна.

— Кот, — сказал рыжий, и класс заржал. Не над ним — с ним. Это была разница, которую я тогда уже чувствовал кожей.

Свободным оставалось одно место — рядом со мной. Со мной никто не сел, потому что я был Сухарь и потому что на парте снопом лежали гладиолусы.

Рыжий оглядел класс, вздохнул и сел рядом.

— Это твои? — Он кивнул на гладиолусы.

— Деда.

— Нормальные. Как копья. — Он покосился на меня. — Тебя как?

— Сухарев. Артём.

— А, Сухарь, слышал из коридора. Ну а я Бурлак. Бурлаки, между прочим, сухари любят. Они на Волге только сухари и ели. Мне батя рассказывал.

Не знаю, правда ли. Это было первое за день, что сказали про меня не со смехом. Вроде как я тоже на что-то годен. Хотя бы чтобы бурлаки меня ели.

Так я и Лёха Бурлаков стали друзьями. Потому что больше было некуда сесть.

Я потом часто думал, что вся наша дружба так и устроена: Лёха садился рядом со мной, когда больше было некуда. Но тогда это не имело значения. Тогда я просто был счастлив.

* * *

Мы стали неразлучны. Это техническое описание: Нина Васильевна пересаживала Лёху за болтовню, а он через неделю возвращался, объясняя, что «у Сухарева лучше видно доску».

У нас было разделение труда. Я чинил, Лёха говорил.

Лёха ломал всё: молнию на пенале, пугач, часы «Монтана», которые утопил в луже, проверяя, правда ли они водонепроницаемые. Я разбирал, понимал — как дед учил — и собирал. Часы так и не пошли, но я разложил их на подоконнике до последней шестерёнки, и Лёха смотрел на них с уважением, как на останки героя.

А Лёха говорил за меня. Когда Ромка Гаврилов орал «Сухарь, сухарь», Лёха поворачивался и говорил, например: «Гаврилов, ты сам-то как батон, только без изюма». Непонятно, но смешно, и Ромка краснел. Лёха умел сказать так, что смеялись на его стороне. Я завидовал этому, как умению свистеть.

Бить Лёха не умел. Но языком мог отбиться от целого класса.

* * *

Осенью мы нашли штаб.

За кооперативом «Мотор», где кончались дедовы гаражи, вдоль железки стояла будка путевого обходчика. Кирпичная, с выбитым окошком и дверью на одной петле. Пахло мышами и креозотом, как шпалы на солнце.

Мы выгребли мусор, притащили ящики из-под овощей, Лёха где-то добыл половину ковра. Дверь я починил: отрихтовал петлю у деда молотком и прикрутил обратно. Это был мой первый «объект».

А ещё я провёл в штаб свет.

Я выпросил у деда старый мотоциклетный аккумулятор и велосипедную фару. Дед показал, где плюс, где минус, и сказал: «Перепутаешь — ничего не будет, просто не загорится. Тут тебе не роддом». Я подключил. Лампочка загорелась. Тусклая, жёлтая, но настоящая.

Лёха заорал «ура», и с крыши слетели голуби.

С тех пор в штабе свет был всегда. Я таскал аккумулятор к деду на подзарядку и мотал изоленту. Это была моя личная месть тому трансформатору.

* * *

Неудачи в первом классе были мелкие. Смешные — если смотреть из две тысячи двадцать шестого.

На новогоднем утреннике я был Зайчиком.

Зайчиками были все мальчики, чьи родители не придумали костюм получше. Мама сделала мне уши из картона, обтянутые ватой. Они были тяжёлые и клонились вперёд, как у грустной собаки.

Дедом Морозом был физрук Анатолий Ильич, в бороде, которая отклеивалась с одной стороны. Зайчики побежали вокруг ёлки. На втором круге ухо съехало мне на глаза, и я не увидел провод от гирлянды.

Я запнулся о провод.

Падая, я схватился за ёлку.

Ёлка была искусственная и держалась на честном слове. Она наклонилась — медленно, торжественно, как в кино про лесорубов. Игрушки посыпались, как перезрелые яблоки. Гирлянда мигнула и погасла: я выдернул её из розетки.

Анатолий Ильич бросился ловить ёлку и поймал. Но борода у него отклеилась окончательно и повисла на одном ухе.

В зале наступила тишина. Потом кто-то из родителей засмеялся. Потом засмеялись все.

Я лежал под ёлкой, с картонным ухом на носу, в мишуре. Видимо, это у меня с рождения: где я, там что-то гаснет.

Мама не пришла — у неё было дежурство. И мне от этого стало легче.

Лёха потом сказал:

— Это был лучший номер. Серьёзно. Все остальные просто прыгали, а ты ёлку уронил. Тебя запомнили.

Меня запомнили. Эту историю в школе рассказывали ещё лет пять.

* * *

Весной был конкурс поделок, районный, «Транспорт будущего». Я делал паровоз.

Я делал его месяц в дедовом гараже. Корпус из банки из-под тушёнки, котёл из банки из-под сгущёнки, шесть колёс из крышек на осях из гвоздей — и они крутились: если толкнуть, паровоз ехал по верстаку почти метр. Дед ничего не делал за меня. Паять я учился на этом паровозе и два раза обжёгся.

Паровоз пах канифолью и немножко тушёнкой. Я покрасил его чёрным и нарисовал на боку красную звезду. Дед посмотрел и сказал: «Хороший. Только звезда кривая». И сразу добавил: «Своё узнаешь и кривое».

В Дом детского творчества я вёз паровоз на автобусе, в обувной коробке на коленях. На третьей остановке автобус дёрнулся, коробка выскочила у меня из рук на сиденье. И на неё села большая женщина с сумками.

Она сказала «ой, тут что-то есть» и поёрзала. Потом встала и сказала: «Мальчик, ну кто же так коробки ставит».

Котёл сплющился, оси погнулись, труба закатилась под сиденье, и я не нашёл её, хотя ползал до самой конечной.

Мне дали грамоту «За участие». Первое место занял третьеклассник с вертолётом из того самого конструктора за тысячу четыреста девяносто рублей.

Дед вечером взял паровоз в руки, повертел.

— Ничего, — сказал он. — Сделаем новый. Паровоз — он железный. Его выпрямить можно. А ты-то целый?

— Целый.

— Ну и всё.

Новый мы так и не сделали. Сплющенный простоял на дедовой полке до самого конца гаража. Забрать его я не успел. Но это потом.

* * *

Кирилл родился в марте, посреди моего первого класса. Я пропустил его в рассказе, потому что тогда пропускал его и в жизни: мне казалось, что он появился как-то сам, как снег.

В роддоме на этот раз свет не выключался — я специально спросил. Мама засмеялась и сказала: «Нет, Тёмочка, Кирюше повезло». Я тогда ещё подумал: ну вот, кому-то в нашей семье повезло. Хорошо, что хоть кому-то.

Он был красный, сморщенный и пах молоком. Мне дали подержать его на диване, и он вцепился мне в палец всей рукой, неожиданно крепко.

Я боялся пошевелиться.

— Смотри, он тебя узнал, — сказала мама.

Он ничего не видел. Но я поверил и решил, что буду защищать его от всего на свете. Как Лёха меня. Только лучше.

Дядя Витя стоял над нами, большой, довольный, в тельняшке, и говорил: «Гуськов! Мужик!» Кирилла записали Гуськовым. Мама осталась Сухаревой — фамилию отца она вернула ещё прошлой осенью, сразу после развода. Так в квартире стало две фамилии, по двое. Казалось бы, поровну. Но мама в расчёт не шла. Мама всегда голосовала с большинством, а большинство было там, где громче.

* * *

Во втором классе мне выписали очки.

На медосмотре я закрывал ложкой глаз и не мог прочитать третью строчку снизу. Врач сказала: «Минус полтора. И будет расти». Она была единственным человеком в моём детстве, чьи прогнозы сбывались.

Очки были в коричневой пластмассовой оправе, тяжёлые, и левая дужка цеплялась за оттопыренное ухо, отчего сидели криво. В первый же день Ромка Гаврилов крикнул «Сухарь в очках! Очкастый сухарь!», и класс засмеялся, и я подумал: ну всё, теперь у меня два недостатка, теперь я полный набор.

Лёха посмотрел на меня, на очки, и сказал:

— Зато теперь видишь, кто дразнится.

И я правда увидел. Раньше деревья были зелёными облаками, теперь у каждого листа был край. И у лиц тоже. На многих оказалось то, чего я раньше не замечал: усталость, злость, скука.

* * *

Кириллу исполнилось полтора, когда дядя Витя сказал за ужином:

— Детской нужна детская.

Сказал, разрезая котлету, как прогноз погоды. Кирилл спал в большой комнате и плакал по ночам, а дядя Витя не высыпался перед сменой. У меня была маленькая комната: кровать, полка с машинками и пустым местом, где когда-то стояла свинья.

— Тёма у нас большой уже, — сказал дядя Витя. — Девять лет скоро. Мужик. Мужику где спать — неважно. Я в казарме на сорок человек спал, и ничего. На кухне диван нормальный.

Я посмотрел на маму. Мама смотрела в тарелку.

— Мам?

Она улыбнулась быстрой виноватой улыбкой, какой улыбаются людям, которым не хватило талончика.

— Тёма, — сказала она. — Ну ты же у меня умный. Ты же поймёшь.

Я понял. Я всегда понимал. Это моё главное достоинство и главный недостаток, и я до сих пор не знаю, где граница.

В субботу дядя Витя вынес мою кровать на помойку. Мои вещи сложили в две коробки под кухонный подоконник. Машинки я отнёс в штаб. Книжку про динозавров подарил Кириллу, и он её сразу порвал. Ему было полтора, ему можно.

Диван на кухне был старый, «книжка», в коричневом кожзаме, лопнувшем на углах. Разложенный, он вставал поперёк кухни, и к холодильнику пробирались боком. Спать можно было только на левой половине: на правой торчала пружина.

В первую ночь я не мог заснуть.

На кухне всё время что-то звучало. Холодильник «Бирюса» гудел, затихал, вздрагивал и снова гудел. Из крана капало — прокладка рассохлась, я понял по звуку и решил завтра попросить у деда новую.

Кап. Кап. Кап.

Я лежал на левой половине, обходя пружину, держал в кулаке дедову монету и считал капли. Просто чтобы чем-то заняться. Сто. Двести. Пятьсот.

На тысяче ста тридцати я остановился. Число было знакомое.

Я смотрел в потолок, где от фонаря качались тени веток, и думал, что так, наверное, всё и считается. По капле. Пока не наберётся.

Тогда я ещё не вёл тетрадь. Но, если честно, именно в ту ночь на кухонном диване я начал считать.

Глава 4. Дядя Витя

Ремень висел на гвоздике у двери в прихожей. Коричневый, армейский, с латунной пряжкой, на которой была звезда. Гвоздик дядя Витя вбил в первый же вечер, когда перевёз к нам две сумки, телевизор «LG» и этот ремень.

— Для порядка, — сказал он и постучал по пряжке ногтем. — Висит — и хорошо. Пусть висит.

Он им почти не пользовался: за пять лет раз семь, может, восемь, — статистика не терпит преувеличений. Но ремень висел на уровне моих глаз, и я проходил мимо него по десять раз на дню. Дядя Витя был прапорщиком и знал, что оружие, которое висит на стене, стреляет не в третьем акте, а каждый день, просто тихо.

* * *

Порядок начинался в шесть тридцать.

— Рота, подъём, — говорил дядя Витя в дверь кухни, где я спал на диване. Рота была я. Кириллу было можно спать, маме тоже. Дяде Вите было нельзя никогда, и он считал, что раз ему нельзя, то и мне нечего.

Диван надо было сложить, накрыть пледом, подушку убрать в ящик. Если плед ложился криво, дядя Витя молча снимал его и бросал на пол. Я научился класть плед так, что края совпадали с краями дивана до сантиметра.

Потом — умыться, зубы, завтрак. На завтрак была овсянка на воде, потому что «молоко для Кирюши». Дядя Витя ел яичницу из трёх яиц и комментировал новости, обращаясь ко мне, будто я лично во всём виноват.

«Мужик не ноет» — это было его второе правило после ремня. Третье — «спасибо скажешь потом». Четвёртое — «я в твои годы». В его годы он, судя по рассказам, разгружал вагоны и ни разу не плакал, даже когда в армии ему сломали нос.

Мама при нём говорила тише и всё время немного спешила — подать, убрать, разогреть. Как человек, который идёт по льду и уже один раз падал.

— Тёма, ну что тебе стоит, — говорила она, когда я спрашивал, почему плед надо класть именно так. — Он же хочет как лучше. Ты же у меня умный, ты же поймёшь.

Я понимал. Я вообще всё понимал, это было моё проклятье. Понимал, что маме страшно одной. Понимал, что дядя Витя приносит зарплату. Понимал, что надо потерпеть.

* * *

Кирилл был единственным в этой квартире, кто меня ни о чём не просил понять.

Он улыбался, как назло, именно мне. Не маме, не отцу, который ходил вокруг него на цыпочках и называл «боец», а мне.

Я его любил. Это надо записать сразу, потому что дальше про Кирилла будет не всё хорошее. Любил, как любят собаку, которую тебе не разрешали завести: всей шириной, без раздумий.

Я катал его в коляске по Заводской. Одно колесо скрипело. На третий день я смазал его маслом из дедова гаража. Дядя Витя заметил, поднял коляску, покрутил колесо, хмыкнул.

— Ну хоть на что-то.

Это была его высшая похвала за все годы.

Кирилл учился ходить у меня. Я приходил из школы в час дня и до вечера был нянькой. Я сажал его на ковёр, отходил на два шага и говорил: «Иди сюда, ну, иди сам». Он вставал, держась за диван, отпускал руку, делал шаг и садился на попу с таким удивлённым лицом, что я смеялся до икоты. Первые пять шагов подряд он прошёл двенадцатого декабря две тысячи восьмого года. Вечером Кирилла поставили посреди комнаты, и он прошёл три шага прямо в руки к отцу.

— Мой! — сказал дядя Витя. — Сам пошёл. Весь в батьку.

Я хотел сказать, что не сам и не в батьку, а я его две недели учил. Не сказал. Мужик не ноет.

Мама смотрела на меня в те годы так, как смотрят на хорошую стиральную машину: с благодарностью и без особого интереса. «Тём, погуляй с Кирюшей». «Тём, сходи в аптеку». Я был удобный. Я был помощник.

* * *

Убежищем был гараж.

После школы, если Кирилл был в садике (с трёх лет его отдали), я бежал к железке, через пути, мимо водокачки, в кооператив «Мотор». Гараж номер сорок семь, синие ворота, на воротах мелом дедовой рукой: «Не ставить машины! Выезд!» — хотя никто никогда не ставил. Когда в две тысячи девятом завод закрыли, дед остался в гараже насовсем, как будто там и жил.

Там пахло соляркой и яблоками. Антоновка в ящике у стены пахла до самой весны. «Маяк» бубнил из приёмника на полке. «Москвич» стоял на яме, подмигивая одной фарой.

Дед ничего не спрашивал. Это было главное. Он просто говорил: «О. Пришёл. Подай на тринадцать». И я подавал. За вечер мы говорили слов двадцать, и это были лучшие слова за день.

Однажды я пришёл с разбитой губой — дядя Витя ударил ладонью, не сильно, просто я стоял неудачно, рядом с косяком. Дед посмотрел. Долго. Вытер руки ветошью.

— Он?

Я кивнул. Потом сказал, что сам виноват: разбил кружку. Кружка была дяди-Витина, с надписью «ВДВ», хотя служил он в стройбате.

Дед ничего не сказал. Надел куртку и вышел. Я сидел в гараже один, слушал «Маяк» и ел антоновку, кислую до слёз.

Вернулся он через час. Баба Нюра из сорок второй потом рассказывала во дворе, что Палыч и старик Сухарев «орали так, что люстра качалась». Мама три дня не разговаривала ни с дедом, ни со мной. Дядя Витя сказал мне вечером, не глядя:

— Ты мне жаловаться бегать будешь — я тебя к нему насовсем отправлю.

Я подумал: вот бы. Но не сказал: у деда однокомнатная на пятом этаже и пенсия девять тысяч, а мама без меня с Кирюшей не справится. Понимать — это моё. Как плоскостопие, только в голове.

После того вечера ремень с гвоздика полгода никто не снимал. Дед, похоже, сказал что-то такое, что прапорщику было неприятно слышать от слесаря.

* * *

В четвёртом классе я выиграл конкурс.

Школьный, не бог весть что. «Юный техник» — так он назывался, его каждый год устраивал трудовик Борис Аркадьевич, которого все звали Бур, потому что он сверлил взглядом. Обычно туда приносили скворечники и подставки под горячее. Один раз первое место заняла табуретка, потому что на ней можно было сидеть.

Я принёс радиоприёмник.

Мы собирали его с дедом всю зиму. Из того, что было в гараже: конденсатор из старого телевизора, катушку я мотал сам, медной проволокой на картонную трубку от туалетной бумаги, сто двадцать витков, считая вслух. Корпус — мыльница. Динамик — из сломанной игрушки Кирилла, которая раньше говорила «Ку-ку, мама».

Он ловил три станции. Хрипло, как с другой планеты. Но ловил. Я крутил колёсико из пробки от шампанского, и вдруг из мыльницы сквозь шорох сказали: «Московское время — семнадцать часов». Я заорал. Дед выглянул из ямы, послушал, кивнул.

— Ну. Значит, понял, как оно устроено. Понял — значит, твоё.

Бур на конкурсе долго вертел мыльницу, прикладывал к уху, щурился. Потом поставил на стол, повернулся к жюри и сказал:

— Это первое место. Остальное можно не смотреть.

Девочка с подставкой под горячее заплакала. Мне было её жалко. Но не очень.

Мне дали грамоту и набор отвёрток в пластиковом чехле. Отвёртки были мягкие, как пластилин. Но грамота была настоящая — с гербом и подписью директора. «Награждается Сухарев Артём, 4 «Б», за 1 место в конкурсе «Юный техник».

Я нёс её домой в файлике, прижимая к куртке, и не придумал заранее, что скажет мама. Мне было достаточно, что она прочитает.

Мама прочитала. Сказала:

— Ой, молодец. Повешу потом. Тёма, Кирюшу забери из садика, я не успеваю.

Дядя Витя вечером взял грамоту, посмотрел на неё, как на квитанцию за свет.

— Радио, — сказал он. — Ерунда это, Тёма. Радио сейчас в каждом телефоне. Лучше бы оценки. У тебя по русскому что?

По русскому у меня была тройка. Я сказал: «Четыре». Это была моя первая ложь в доме, и она ничего не изменила, как и все последующие.

Приёмник я поставил на подоконник на кухне, над своим диваном. Антенну пристроил на гвоздь от шторы. Вечером, когда все засыпали, я включал его тихо-тихо и слушал «Маяк». Мне казалось, что дед тоже сейчас слушает «Маяк» в своей квартире, и у нас с ним одна и та же волна. Это было глупо и очень хорошо.

Он прожил на подоконнике девять дней.

На десятый я пришёл из школы, и на полу кухни лежала мыльница, раскрытая, как ракушка. Катушка — моя катушка, сто двадцать витков — была размотана по всему линолеуму, проволока перепуталась в ком, как волосы в стоке. Динамик Кирилл держал в руках и пытался засунуть в рот. Ему было три. Он увидел меня и обрадовался.

— Тёма! Ку-ку!

Я сел на пол. Я не плакал, это я точно помню. Я просто собирал проволоку в горсть и думал, что сто двадцать витков я больше не намотаю, потому что трубку от туалетной бумаги он тоже порвал.

Дядя Витя вышел на кухню на шум.

— Это что за бардак?

— Кирилл сломал, — сказал я. — Радио.

Он посмотрел на Кирилла. Кирилл улыбнулся ему всеми зубами. Дядя Витя посмотрел на меня.

— А почему он у тебя лежал там, где ребёнок достанет? А? Почему не убрал? Ты старший или кто?

— Он на подоконнике лежал...

— На подоконнике. Ребёнок на табуретку залез — и чего? А если бы он проводом удавился? Ты об этом думал?

В тот вечер ремень сняли с гвоздика в первый раз после дедова скандала. Три раза, не сильно — «для порядка», без злобы, и это было хуже. Со злобой ты хотя бы понимаешь, что человек неправ. А так выходило, что прав.

Мама стояла в дверях кухни и держала Кирилла на руках. Кирилл смотрел на ремень с интересом.

— Витя, ну хватит, — сказала мама. Тихо. Один раз.

Это был её максимум.

Ночью Кирилл пришёл ко мне на кухню. Ему было три, он ещё иногда сбегал из своей кроватки. Залез ко мне под плед, сунул холодные ноги мне в живот.

— Тёма, — сказал он, — а радио скажет «ку-ку»?

— Нет, — сказал я. — Радио умерло.

Он подумал.

— Тогда я тебе свой дам. Машинку.

И уснул. А я лежал и думал, что не могу на него злиться, хотя очень хочу. Злиться было не на кого.

* * *

Назавтра я принёс деду мыльницу и ком проволоки в пакете из «Магнита».

Дед высыпал всё на верстак. Долго смотрел. Потом взял ком в свои наждачные пальцы и начал распутывать. Молча, виток за витком, весь вечер. Когда проволока лежала на верстаке ровной блестящей змейкой, дед её смотал на палец, перевязал ниточкой и отдал мне.

— Вот. Трубку новую найдём. Намотаешь заново. Сто двадцать?

— Сто двадцать.

— Намотаешь. Руки не забыли.

Потом он закурил «Приму», что делал в гараже редко, потому что солярка, и сел на табуретку напротив.

— Тёма. Слушай, что скажу. Один раз скажу, больше не буду.

Я кивнул.

— Гараж этот будет твой. Я написал. На тебя. Всё, что здесь: «Москвич», инструмент, яма. Твоё. Когда меня не станет — придёшь, откроешь и будешь хозяин. Понял? Чтоб у тебя было место, откуда никто не выгонит.

— А тебя не станет?

— Всех не станет, — сказал дед. — Это не страшно. Страшно, когда негде быть. Ну, вот. Написал.

Он показал на полку, где стояла жестяная коробка из-под чая «Бодрость» с документами на «Москвич». Я не спросил, у кого он написал, у нотариуса или где. Мне было девять, и «написал» значило «есть».

Перед уходом я достал из кармана монету. Юбилейный рубль, семидесятый год, Ленин с вытянутой рукой. Ленин на нём стёрся до блеска, будто его кто-то каждый день гладил. Это был я. Но Кирилл теперь лазил по моим карманам, по моему рюкзаку, по ящику под диваном. Мой мир дома становился всё меньше.

На верстаке стояла дедова банка с болтами — трёхлитровая, из-под огурцов, полная до горла: болты, гайки, шайбы, шплинты, всё вперемешку, всё ржавое и всё нужное. Дед говорил, что в ней есть ответ на любой вопрос.

Я засунул руку в банку по локоть, болты холодно звякнули, и положил монету на самое дно.

Дед смотрел и ничего не сказал. Только кивнул, как кивал, когда я правильно подавал ключ.

— Там надёжно, — сказал он. — Там её никто не найдёт. Кроме тебя.

Я шёл домой через пути, и мне было легко, как никогда. У меня было место. У меня было что-то своё, записанное, решённое. Я даже ремень на гвоздике в тот вечер не заметил.

Это было в марте две тысячи одиннадцатого года. Деду оставалось год и восемь месяцев. Мне — чуть больше, чтобы узнать, что «написал» и «есть» — это разные слова.

Глава 5. Ноябрь

Четырнадцатого ноября две тысячи двенадцатого года в Ржавске был гололёд. Ночью шёл дождь, к утру ударил минус, и весь город покрылся стеклом. Деревья звенели. Провода обросли льдом в палец толщиной.

Я это запомнил так подробно, потому что в тот день всё, что можно было запомнить, я запомнил. Как будто мозг знал, что я буду его пересматривать. Я и пересматриваю.

* * *

Последний урок была физкультура, и Нина Сергеевна отпустила нас раньше: в спортзале текла крыша, на полу стояли вёдра. Я вышел из школы в начале второго. У меня было четыре часа свободы, и я точно знал, где их проведу.

Дед обещал показать, как притирать клапаны. Мы неделю разбирали головку блока на «Москвиче», и я ждал этого, как другие ждут Нового года. В рюкзаке у меня лежали два бутерброда с маслом, один для деда. Он всегда говорил: «Ну, раз принёс».

Я шёл через пути. Я упал на спину и лежал на льду, смотрел в серое небо и смеялся. Мне было двенадцать, и я ещё считал, что падать смешно.

Синие ворота гаража сорок семь были приоткрыты. Так бывало часто: дед проветривал. Из щели не играл «Маяк». Я тогда подумал: батарейки сели. Вот и всё, что я подумал.

Я толкнул створку.

Дед лежал на полу у «Москвича», на боку, лицом к колесу. Одна рука под головой, как будто прилёг. В другой руке был ключ. На десять. Я это увидел первым — не лицо, а ключ. Потому что ключ на десять был первый ключ, который он научил меня отличать.

— Дед, — сказал я.

Потом громче. Потом я сел рядом и тряс его за плечо, и плечо было тяжёлым и холодным, но не совсем, не как лёд, а как вода из-под крана зимой. Это значило, что он лежал так недолго. Может, час. Если бы физкультуру отпустили на час раньше. Если бы я не падал на путях. Если бы я не смеялся, лёжа на льду.

Это «если бы» я гонял по кругу лет пять.

У меня был телефон, мамина старая «Нокия». Я набрал «03», как учили в школе. Не прошло. Набрал «112». Женщине я сказал: «Кооператив «Мотор», у железки, гараж сорок семь». Она спросила, дышит ли он.

Я не знал. Я положил ухо ему на грудь, как в кино. Слышал только своё сердце — в ушах, в горле, в пальцах.

— Не знаю, — сказал я. — Я не слышу.

Она стала говорить, куда давить и как считать. Я давил. Я считал. Мне было двенадцать, я весил тридцать восемь килограмм, а дед был широкий, как шкаф. Я давил и считал, и из меня выходили какие-то звуки, которых я сам у себя не знал.

Потом прибежал Михалыч.

Михаил Михайлович Лаптев, гараж пятьдесят два, через пять ворот. Он услышал, как я ору, и вбежал — хромой, по льду, с палкой, — посмотрел на деда, на меня, отодвинул меня одной рукой и сам встал на колени.

— Пашка, — сказал он. — Пашка, ты чего. Ты чего это, а.

Он давил деду на грудь, тяжело, по-настоящему, и я слышал, как что-то там хрустнуло, и закричал на него, чтоб не ломал. Михалыч не остановился. Он давил и матерился сквозь зубы — такими словами, что не повторю, — и это была самая длинная молитва, которую я слышал в жизни.

«Скорая» ехала пятьдесят минут.

Я потом узнал: в тот вечер на весь район была одна машина. Вторая стояла сломанная. Первая была на трассе, где сложилась фура. Двадцать два километра по стеклу. Водителя я не виню. Он ехал как мог.

Когда фельдшер вошла в гараж, Михалыч уже сидел на полу рядом с дедом и держал его голову у себя на коленях. Фельдшер посмотрела, пощупала шею, посветила фонариком. Сказала: «Всё». Тихо, буднично. Сказала время. Его я не запомнил — единственное в тот день.

Михалыч заплакал. Беззвучно, с открытым ртом, по щетине. Я никогда не видел, чтобы плакал взрослый мужчина. Я думал, они не умеют. Дядя Витя говорил: мужик не ноет.

Михалыч не ныл. Он плакал. Это разное. Я это понял в тот день.

А я не плакал. Я стоял у верстака, держал в руке ключ на десять, который вынул у деда из пальцев, и смотрел на банку с болтами. Мне было важно, что банка стоит на месте.

* * *

Похороны были в субботу.

Дядя Витя всё организовал. Это надо признать, и я признаю: он умел организовывать. Он договорился с агентством «Память» на Советской, выбил место рядом с бабушкой, заказал автобус. Он ходил по квартире с блокнотом и калькулятором, и я слышал, как он считает вслух:

— Гроб — четырнадцать. Венки — три по полторы. Копка — шесть, это грабёж, но ладно. Поминки — сорок человек по пятьсот — двадцать. Водка отдельно. Ира, у него на книжке что-нибудь было?

Мама что-то ответила, тихо.

— Сорок две? — Дядя Витя записал. — Ну, хоть так. Не в минус.

Я лежал на своём кухонном диване лицом к стене и слушал, как деда складывают в столбик. Гроб, венки, копка, сорок человек по пятьсот. Он не был злым. Просто для него это было мероприятие, а для меня — конец света, и мы жили в одной квартире, но в разных странах.

На кладбище было ветрено. Лёд к субботе подтаял, и всё превратилось в бурую кашу. Пришли человек тридцать: старики с вагоноремонтного, соседи по кооперативу. Говорили, что Пашка был руки золотые и никому не отказывал. Я слушал и думал: почему вы ему это не говорили?

Михалыч стоял в стороне, опирался на палку и не говорил ничего. Когда гроб опускали, он снял шапку, и у него тряслась голова.

Мама плакала, уткнувшись в дядю Витю. Дядя Витя поглядывал на часы: автобус был до трёх. Кирилл, пять лет, держал меня за руку и спросил, можно ли забрать его машинку из гаража, красную, которую дед ему дал поиграть. Я сказал: можно. И сжал его руку так, что он пискнул.

На поминках в столовой «Уют» дядя Витя сказал тост. Хороший тост, правильный: «Павел Егорович был настоящий мужик. Работяга. Таких сейчас не делают». Все выпили. Я сидел в углу с компотом и думал, что это правда — таких не делают. И что дед в ящике, а дядя Витя говорит тост. Мир устроен неправильно, но, видимо, никого, кроме меня, это не смущало.

Михалыч подошёл ко мне в конце, когда уже убирали тарелки. Положил мне на плечо тяжёлую руку.

— Ты это, — сказал он. — Ты приходи. В пятьдесят второй. Если что. Понял?

Я кивнул. И не пришёл. Не мог, потому что пятьдесят второй был через пять ворот от сорок седьмого, и я не мог пройти мимо синих ворот.

* * *

Про завещание я сказал маме через неделю.

Никто не вспоминал. Дядя Витя по вечерам сидел с калькулятором и говорил маме вполголоса слова «гараж», «машина», «оформлять».

— Дед написал, что гараж мне, — сказал я за ужином. — Он мне говорил. Там, в коробке, в «Бодрости».

Стало тихо. Мама посмотрела на дядю Витю. Дядя Витя положил вилку.

— Написал, — повторил он. — Где написал?

— В гараже. На бумаге.

Назавтра мы пошли в гараж втроём: я, мама, дядя Витя. Я не был там с того дня. Внутри всё было так же. Ящик с антоновкой — яблоки уже начали подгнивать, и запах стал сладкий, тяжёлый, как в погребе.

Коробку из-под чая «Бодрость» дядя Витя открыл сам. Техпаспорт, квитанции за свет. И тетрадный лист в клетку, сложенный вчетверо.

Дядя Витя развернул. Прочитал. Хмыкнул. Отдал маме. Мама прочитала, и губы у неё задрожали. Потом лист дали мне.

Почерк был дедов — крупный, с нажимом, буквы как будто вырезаны. «Я, Сухарев Павел Егорович, находясь в здравом уме, завещаю гараж № 47 в ГСК «Мотор», автомобиль «Москвич-412» и весь инструмент внуку моему Сухареву Артёму Сергеевичу. Чтоб было ему где быть. 3 марта 2011 г.». И подпись. И больше ничего. Ни печати, ни нотариуса, ни свидетелей.

«Чтоб было ему где быть». Он даже в документе не удержался.

— Это не завещание, Тёма, — сказал дядя Витя. Спокойно. Почти мягко. — Это записка. Такую бумажку любой напишет. Юридической силы — ноль. Понимаешь? Ноль. Наследник по закону — мама. Всё.

— Но он же написал, — сказал я.

— Написал. А надо было к нотариусу сходить. Он не сходил. Значит, не очень-то и хотел.

Это было неправда. Дед не ходил к нотариусам, как не ходил к врачам: он считал, что если что-то сделал своими руками, то это сделано. Но объяснить это дяде Вите было как объяснить ему радио в мыльнице.

Я посмотрел на маму. Мама смотрела в пол.

* * *

Гараж продали в апреле.

Покупателя нашёл дядя Витя: какой-то Жмыхов, у которого была автомойка на въезде в город и который скупал гаражи в «Моторе» под что-то своё. «Москвич» ушёл вместе с гаражом, «на запчасти, кому он нужен, этот хлам». Инструмент — оптом. Сто сорок тысяч за всё.

Я узнал об этом в субботу, когда дядя Витя пришёл домой довольный и положил на стол пачку пятитысячных, перетянутую резинкой.

— Ну вот, — сказал он маме. — Кухню сделаем. Сколько можно на этой развалюхе.

Кухню сделали в мае. Новый гарнитур, бежевый, с фасадами «под дерево», и столешница с блестками. Мой диван остался — его просто передвинули к другой стене. Кириллу купили велосипед «Стелс», красный, с ручным тормозом, и ноутбук «Асус», «чтоб развивался». Кирилл развивался в «Энгри бёрдс».

Мне купили кроссовки. Я не просил. Мама просто принесла коробку и сказала: «Это тебе. Тоже от деда».

Кроссовки были хорошие. Я их носил два года и каждый раз, завязывая шнурки, думал, что дед бы над этим посмеялся — гараж поменяли на кроссовки.

Накануне того дня, когда новый хозяин забирал ключи, я сбежал с уроков и пошёл в «Мотор». Замок был уже другой — дядя Витя поменял, когда показывал гараж покупателю. Но Михалыч стоял у своих ворот. Он посмотрел на меня, ничего не спросил, достал из кармана связку и открыл. Ключи от всего ряда у него были с советских времён, на случай пожара.

— Пять минут, — сказал он. — Я не видел.

Я вошёл. Стены стали огромными, голыми, на них остались светлые контуры от ключей, которые висели там по росту, от шестёрки до тридцать второго. «Москвич» стоял, но уже без колёс, на кирпичах.

Банка стояла на полу в углу. Её никто не взял. Кому нужна трёхлитровая банка ржавых болтов.

Я поднял её. Она была тяжёлая, килограммов пять. Я засунул руку по локоть, как тогда, нащупал на дне монету. Ленин был на месте. А рядом с ним пальцы наткнулись на что-то мягкое. Я вытащил. Это была свёрнутая трубочкой пятидесятирублёвка, обмотанная синей изолентой. Дедова заначка. Он так бросал курить, лет двадцать.

Я положил монету в карман. Пятьдесят рублей оставил в банке. Потратить их было бы всё равно что потратить деда.

Банку я нёс домой в пакете, обхватив двумя руками, как Кирилла когда-то. Михалыч смотрел мне вслед и не сказал ни слова.

* * *

Дома мама увидела банку и вздохнула.

— Тёма, ну зачем тебе это железо. Куда ты её поставишь? У нас кухня новая.

— Под диван, — сказал я.

— Тёма.

Она села рядом со мной на диван. Погладила по голове, как маленького. От неё пахло новой кухней — клеем и пластиком.

— Тёма, — сказала она. — Ну ты пойми. Нам же жить надо. Кирюше расти. Витя же не для себя. А гараж — ну что гараж, ты бы туда ходил, сидел один, плакал. Деда этим не вернёшь. Ну ты же у меня умный. Ты же поймёшь.

Я понял.

Я понял, что «ты же поймёшь» — это не вопрос и не просьба. Это квитанция. Это когда у тебя что-то забирают и сразу выдают чек, что ты не против.

— Понял, — сказал я.

Она обрадовалась, поцеловала меня в макушку и пошла жарить котлеты на новой плите.

Ночью, когда все уснули, я встал, достал из кармана куртки ключ на десять. Тот самый, который вынул у деда из пальцев в ноябре. Я носил его с собой всю зиму и никому не показывал. Хромированный, с потёртым ГОСТом, чуть изогнутый — дед им однажды что-то отжимал, хотя мне говорил, что ключом отжимать нельзя.

Над диваном, в стене, торчал старый гвоздь от календаря, который сняли при ремонте. Я повесил на него ключ.

Он висел прямо над моей головой. Если лечь на спину, его было видно в свете фонаря с улицы: маленький, блестящий, как стрелка компаса.

У дяди Вити в прихожей был ремень на гвоздике. У меня над диваном теперь был ключ.

Порядок так порядок.

Часть вторая. Подслушано Ржавск

Глава 6. Новенький Лёха

Стас Жмыхов вошёл в седьмой «Б» второго сентября две тысячи тринадцатого года, и класс стал на одного человека теснее и на полметра ниже.

Он был второгодник. Это объясняло рост, но не ладони размером с разделочную доску и не голос, который ломался сразу вниз, в подвал. Ему было четырнадцать, а выглядел он на восемнадцать, и на щеках у него росло что-то, что он называл бородой, а Галина Петровна, классная, называла «Жмыхов, побрейся, это школа».

Он сел на последнюю парту, вытянул ноги в проход и сказал на весь класс:

— Ну чё, лохи. Знакомиться будем?

Все засмеялись. Не потому что смешно. Потому что так безопаснее. Когда приходит большой — смейся.

Я тоже засмеялся.

* * *

Отец Стаса держал автомойку «Блеск» на въезде в город, у поворота на трассу. Тот самый Жмыхов, который весной купил дедов гараж. Я это понял не сразу — фамилия в Ржавске не редкая. Понял, когда Стас на второй неделе на физкультуре, в раздевалке, рассказывал, что батя «скупил полкооператива у железки, там шиномонтаж будет, а старьё всякое на металл сдали».

«Старьё всякое». «Москвич-412», на котором я учился держать руль, сидя у деда на коленях.

* * *

Выбрал он меня быстро. В седьмом «Б» был ещё толстый Ваня Кулёмин, была заикающаяся Света, был Рустам, которого дразнили за акцент. Но Ваня был сын участкового. Свету защищали девочки. Рустам на второй день разбил кому-то нос в столовой и стал неприкасаемым.

А я был очкарик, худой, сутулый, с оттопыренным левым ухом, в куртке, которую мама купила на рынке «на вырост» и я в неё никак не вырастал. И с фамилией, которую не надо было даже переделывать.

— Сухарев, — прочитал Стас по журналу, когда Галина Петровна вышла. — Сухарев. Сухарь. О, пацаны. Сухарики. «Три корочки», хрустящие.

Он подошёл к моей парте, наклонился, взял меня двумя пальцами за ухо — то самое, левое — и потряс.

— Хрустит, — объявил он. — Сухарик с ушами. Со вкусом очкарика.

Класс заржал. Сухарём меня звали с первого класса, но раньше это было просто прозвище — как «Рыжий» у Лёхи, как «Кулёма» у Вани. Стас сделал из него блюдо.

Лёха Бурлаков сидел рядом со мной. Шесть лет без перерыва. Он всегда знал, что сказать. Когда меня в третьем классе обозвали «очкастым», он сказал обидчику: «Зато он видит, какой ты урод, во всех подробностях», — и обидчик ушёл думать.

В тот раз Лёха тоже сказал. Он сказал:

— Слышь, Жмых, отпусти ухо, оно у него одно такое. Сломаешь — где новое возьмёт?

Опять засмеялись. Но уже по-другому — над Лёхиной шуткой, а не надо мной. Стас прищурился, оценил, отпустил. Лёха умел так: повернуть смех. Это был его талант, как у меня — чинить.

— Месяц — и отстанет, — сказал он мне на перемене.

Стас не отстал ни через месяц, ни через два.

* * *

Сентябрь и октябрь Лёха держался. Это надо записать честно: два месяца он стоял рядом.

Когда Стас кидал в меня жёваную бумагу через трубку от ручки, Лёха говорил: «Жмых, ты бы в баскетбол так попадал».

В штабе было как раньше. Штаб — это заброшенная будка обходчика на железке, за водокачкой, недалеко от «Мотора». Там стоял топчан, буржуйка, которую мы ни разу не решились затопить, и на стене висела карта СССР, где Ржавск был точкой без названия. Я провёл в будку свет — от столба, по проводу, через выключатель от старого холодильника.

Там Лёха говорил про Стаса:

— Жмых — это просто жирный злой ребёнок. Его в шестом оставили, ему обидно, он и бесится. Ты не реагируй, и всё.

— Я не реагирую.

— Вот и не реагируй. А если что — я рядом.

Его отец уехал в Москву, когда Лёхе было восемь, и звонил по праздникам. Мой ушёл, когда мне было шесть, и не звонил вообще. Лёха свою безотцовщину носил легко, как кепку, а я — как рюкзак с кирпичами.

Я думал, что так будет всегда. Я — руки, он — язык. Я чиню, он защищает.

* * *

Это случилось седьмого ноября. На первом этаже ещё висел плакат «С Днём народного единства», и под ним кто-то нарисовал маркером неприличное.

Большая перемена, кабинет географии на третьем этаже. Окна открыты. Стас сидел на подоконнике с телефоном. Вокруг — свита: Дэн Козырев, братья Лыковы, ещё кто-то. За два месяца Стас собрал вокруг себя всех, кто не хотел быть на моём месте. То есть почти всех.

Лёха стоял у двери. Он последнюю неделю всё чаще стоял где-то между мной и ними. Не с ними. Но и не совсем со мной.

— Сухарь, — позвал Стас, не отрывая глаз от телефона. — Дай списать алгебру.

— Не дам.

Обычно я давал. Но в тот день я с утра был злой: дома дядя Витя снова сказал про «бестолочь», мама снова промолчала, Кирилл снова разрисовал фломастером мою тетрадь по физике. Я проснулся с ощущением, что меня уже слишком много раз сегодня попросили понять.

Стас поднял глаза. Медленно. С интересом.

— Не понял.

— Не дам, — повторил я. — Сам делай.

Тишина в классе стала густая, как кисель. Стас слез с подоконника. Я сидел за партой и смотрел на него снизу вверх. Я никогда в жизни не дрался. Я умел только замирать.

И тут Стас посмотрел не на меня. Он посмотрел на Лёху.

— Рыжий, — сказал он. — А ты чё всё время у двери трёшься? Ты с кем вообще?

Это был вопрос. Настоящий, прямой, при всех. Я видел, как Лёха его услышал. Как он понял, что сейчас — вот прямо сейчас — его спрашивают, на какой он стороне. И что «рядом» больше нельзя. Надо выбрать.

Лёха посмотрел на меня. Секунду. Может, две. У него были очень светлые глаза, почти жёлтые, и в них было что-то, что я потом много раз пытался назвать. Не злость. Извинение. Заранее.

Потом он улыбнулся своей лучшей улыбкой — той, которой он улыбался продавщицам, учителям, мамам друзей. Подошёл к моей парте. Взял мой рюкзак за лямку.

— Да я с вами, — сказал он легко. — Чё ты. Я тут просто мусор вынести хотел.

И выкинул мой рюкзак в открытое окно.

Третий этаж. Рюкзак пролетел мимо карниза и упал на козырёк над входом в столовую. Внутри были учебники, бутерброд и тетрадь со схемой нового приёмника — вместо сломанного.

Класс взорвался. Это был не тот смех, которым смеются, чтобы не попасть самому. Это был настоящий радостный хохот. Рыжий Лёха, верный оруженосец Сухаря, сам выкинул его рюкзак. Ни один сериал так не поворачивал.

Стас хлопнул Лёху по плечу так, что тот качнулся.

— Ну ты, Рыжий, жёсткий! Красава!

Лёха смеялся вместе со всеми. Громче всех. На меня он больше не смотрел.

Я встал, вышел из класса, спустился на первый этаж и пошёл к завхозу просить лестницу. Завхоз дал и сказал: «Опять, что ли?» Это было в первый раз.

Рюкзак лежал на козырьке в луже. Схема промокла и превратилась в синее облако, похожее на карту неизвестной страны.

Я сидел на козырьке, наверху лестницы, с мокрым рюкзаком на коленях, и в этот момент я сделал то, что потом делал всю жизнь. Я начал считать.

«Предательство номер один», — сказал я про себя.

Номер один, потому что отец не считался — мне было шесть, я думал, что он уехал на рыбалку. Гараж не считался — там была бумага и закон, а не человек. А тут был человек. Лучший друг. И он сделал это сам, улыбаясь, с моим рюкзаком в руке.

Во мне что-то щёлкнуло и встало на место, как шплинт. Номер один. Значит, будет и номер два. Значит, надо вести учёт. Если ведёшь учёт — не так больно. Это уже не беда, это статистика.

* * *

Дальше всё пошло быстро. Травля — это механизм, и как любой механизм, после первого оборота он крутится сам.

Через неделю мой портфель оказался в унитазе в мужском туалете на втором этаже. Целиком, вниз учебниками. Я достал его, отмыл под краном, сушил дома на батарее. Маме я сказал: «Упал в лужу». Она сказала: «Аккуратнее надо, новый не купим». Кирилл, шесть лет, понюхал портфель и сказал: «Фу, туалетом пахнет», — и был единственным в семье, кто сказал правду.

Через две недели появилась кличка. Это была Лёхина работа. Я знаю точно, потому что слышал, как он её рассказывал — в раздевалке, при Стасе, со всеми подробностями, как анекдот.

— У Сухаря дед в гараже крыс ловил, — говорил Лёха, натягивая кроссовок. — Реально, мышеловки на крыс ставил, вот такие. И Сухарь с ним. А потом жарили на костре. Он мне сам рассказывал. Крысоеды, короче. Семейное.

Это была правда. Наполовину. В гараже действительно были крысы, и дед действительно ставил крысоловки, потому что они грызли проводку. И я действительно рассказывал Лёхе об этом — в штабе, в пятом классе, как смешную историю, как мы с дедом неделю охотились на одну хитрую крысу, которую дед уважительно звал Профессором. Никто никого не жарил. Но Лёха знал, как сделать из правды смешное. Это был его талант.

— Крысоед! — заорал Стас. — Пацаны, Сухарь — Крысоед!

Прозвище прилипло намертво. Сухарь остался для учителей. Для всех остальных я стал Крысоедом. Пятиклашки кричали мне в спину «Крысоед!» в столовой. Дэн Козырев подложил мне в пенал дохлую мышь. Мышь была не крыса, но жанр был соблюдён.

Хуже всего было не это. Хуже всего было, что дед теперь участвовал в шутке. Дед, который распутывал мою проволоку весь вечер. Его вставили в анекдот. Объяснить это было нельзя — стало бы ещё смешнее.

* * *

Я научился ходить домой длинной дорогой.

Короткая шла через площадь, где у ларька с шаурмой после уроков стоял Стас со свитой. Длинная — через железку и кооператив «Мотор», мимо гаражей. Сорок минут вместо пятнадцати. Зимой — час.

Я проходил мимо гаража сорок семь. Ворота перекрасили в зелёный. Вывеска «Шиномонтаж» ещё не висела, но внутри уже что-то стучало, и пахло не соляркой, а резиной. Я не останавливался. Я шёл мимо, глядя под ноги, и считал шаги. Мимо сорок седьмого — сорок три шага. Мимо пятьдесят второго, где Михалыч, — ещё двадцать. Михалыч иногда стоял у ворот и смотрел, как я иду. Один раз поднял руку. Я сделал вид, что не заметил. Мне было стыдно, как будто это я продал гараж.

Иногда я сворачивал в штаб. Свет, который я провёл, ещё работал. Лёха туда больше не ходил — на снегу у двери не было его следов, только мои. Я сидел на топчане, грел руки над нерастопленной буржуйкой и делал уроки при лампочке.

Там, в будке, было единственное место в мире, где меня никто не звал Крысоедом. Потому что там никого не было.

* * *

В начале декабря я сидел в штабе вечером — дома был скандал, дядя Витя орал на маму из-за денег, и я ушёл, сказав, что к Лёхе. Мама поверила. Она ничего не знала: зачем рассказывать, если ответ известен заранее.

Было темно, минус двенадцать. Лампочка горела жёлтым. Я сидел в куртке, обхватив колени, и смотрел, как пар изо рта поднимается к потолку.

Телефон завибрировал. «ВКонтакте». Сообщение от Алексея Бурлакова. Первое за месяц.

Я смотрел на экран секунд двадцать, прежде чем открыть. Я загадал: если он напишет «прости» — я прощу. Сразу. Я ждал этого месяц.

Он написал:

«Сорри, бро. Ну ты понимаешь. Это ненадолго».

И смайлик. Жёлтая рожица, которая пожимала плечами.

Я перечитал раз десять. «Ну ты понимаешь». Он писал мне то же, что говорила мама. Он знал, что я понимаю. Все знали, что я понимаю. Это было самое удобное, что во мне было, — что я всё понимаю.

Я понимал. Ему было страшно. Стас был большой, а Лёха был маленький и рыжий, и ему не хотелось оказаться рядом со мной на козырьке над столовой. Он выбрал себя. Легко, обаятельно, с извинением заранее. Это ненадолго. Пока Стас не отстанет. Потом всё станет как раньше.

Я напечатал: «Понимаю».

Посмотрел на это слово. Стёр. Напечатал снова. Отправил.

Потом выключил свет в будке — щёлкнул выключателем от старого холодильника — и пошёл домой длинной дорогой, мимо зелёных ворот, сорок три шага, не поднимая головы.

Он был прав. Я понимал.

Только он ошибся в другом. Это было надолго.

Глава 7. Олимпиада

Кабинет физики был на четвёртом этаже, в самом конце коридора, и туда никто не ходил по своей воле. Там пахло канифолью и пылью от старых плакатов, на подоконниках стояли кактусы, которые не цвели с восьмидесятых, а над доской висел портрет Ньютона с таким выражением лица, будто яблоко ему не на голову упало, а в суп.

На переменах я сидел там. Стасу было лень подниматься на четвёртый этаж. Приходила только Тамара Ильинична с кружкой чая с лимоном.

В первый раз, в начале восьмого класса, она нашла меня там на большой перемене — я сидел за последней партой и ел бутерброд.

— Сухарев, — сказала она. — Ты чего тут?

Я приготовился, что меня выгонят. Она посмотрела на мои руки — в царапинах, я накануне чинил соседке утюг.

— Электроскоп умеешь починить? — спросила она. — Листочки отклеились. У нас лаборант на пенсии с две тысячи девятого.

Я починил. Потом амперметр. Потом трансформатор, который служил подставкой для журнала.

* * *

Тамара Ильинична Воробьёва. Шестьдесят один год, маленькая, сухая, в очках с толстыми линзами — толще моих. Она никогда не кричала, даже на Стаса: просто замолкала и смотрела, пока человек сам не начинал чувствовать себя глупо.

Она была единственным учителем, который меня видел. Не «Сухарева, который не мешает». Меня.

Однажды я решил на уроке задачу про рычаг не так, как в учебнике, а по-своему — нарисовал гаечный ключ и болт и посчитал через момент силы, как дед объяснял мне, почему длинным ключом откручивать легче. Тамара Ильинична посмотрела в тетрадь, хмыкнула.

— Это кто тебя научил?

— Дед.

— Инженер?

— Слесарь.

Она кивнула, как будто это было даже лучше.

— Слесарь — это физик, который не любит писать формулы, — сказала она. — Хороший был дед?

Я сказал «да» и отвернулся к окну, потому что прошло два года, а горло всё ещё не слушалось.

* * *

В октябре она сказала, что будет готовить меня к олимпиаде.

— Школьный этап ты напишешь, муниципальный тоже, это я знаю. А дальше — региональный, в Твери. В декабре. Туда из Ржавска никто не проходил с девяносто восьмого года.

— А в девяносто восьмом кто?

— Я, — сказала она. — Учителем уже. Ученик мой, Петя Гринёв. Сейчас в Курчатовском институте.

Она сказала это просто, без гордости, но я видел, как она поправила очки.

Мы занимались по вторникам и четвергам после уроков, по два часа. Она давала мне задачи из старых сборников, подклеенных скотчем, и проверяла тетради, пока я решал. Если я застревал, она не подсказывала. Говорила: «Нарисуй. Ты же руками думаешь, вот и нарисуй».

Я рисовал. У меня была привычка, над которой она сначала смеялась: на всех рисунках вместо грузика я рисовал гайку. Шестигранную, с резьбой внутри, как из дедовой банки. Маятник — нитка и гайка. Брусок на наклонной плоскости — тоже гайка.

— Сухарев, это что?

— Груз.

— Почему гайка?

— Так понятнее, сколько весит.

Она посмотрела на меня поверх очков и больше не спрашивала.

Школьный этап я выиграл. Муниципальный — тоже, с отрывом в двадцать баллов. Второе место занял Егор Ступин из восьмого «А».

Егор Ступин был сын завуча. Ларисы Геннадьевны Ступиной, которая вела в школе всё — расписание, премии, кто куда едет и кто где стоит на линейке. Егор был нормальный парень: сонный, вежливый, в выглаженных рубашках. Он вообще меня не замечал, как не замечают обои.

На региональный этап от района брали двоих. Нас.

* * *

В Твери олимпиаду писали в здании университета, на Желябова. Нас везла сама Лариса Геннадьевна, на школьной «Газели», три часа по трассе. Я сидел у окна и держал в кармане дедову монету — впервые за долгое время взял её из банки. Чтобы помнил, что не один.

Егор спал всю дорогу. Лариса Геннадьевна говорила по телефону и ела яблоко.

Аудитория амфитеатром, человек сто со всей области. Нам выдали титульные листы, на которые надо было написать фамилию, и отдельные листы для решений с шифром. Шифр — чтобы проверяющие не знали, чья работа. Это было честно. Я очень этому радовался.

Задач было пять. Четыре я решил за два часа. Пятая была про маятник: нить цепляется за гвоздь ниже точки подвеса, и надо найти, при каком положении гвоздя груз сделает полный оборот вокруг него.

Я нарисовал гвоздь. Нитку. Гайку. Я вспомнил, как в гараже провод на гвозде наматывался, если толкнуть сильнее. И я решил. Через сохранение энергии и натяжение нити в верхней точке. Последнюю строчку я дописал, когда сказали «пять минут».

Когда мы вышли, Егор спросил:

— Ты пятую решил?

— Решил.

— Серьёзно? Её вроде никто не решил. Там кто-то в коридоре говорил, что она с подвохом.

— С гвоздём, — сказал я.

Лариса Геннадьевна обернулась и посмотрела на меня. Как будто впервые. Я тогда подумал, что это хорошо.

* * *

Результаты вывесили через две недели на сайте областного института развития образования. Тамара Ильинична позвала меня после шестого урока. Она сидела перед компьютером и молчала.

— Садись, — сказала она.

Я сел. Посмотрел на экран.

Таблица призёров. Третье место — Ступин Егор Андреевич, Ржавский район, МОУ СОШ № 2. Тридцать восемь из пятидесяти. Пятая задача — десять из десяти. Единственный в области.

Я искал себя. Сухарев Артём Сергеевич — в самом низу, отдельной строкой. Без баллов. Пометка: «Работа не предоставлена».

— Как это — не предоставлена? — сказал я. — Я сдавал. Я же сдавал. Вы же видели, я…

— Я не видела, — сказала Тамара Ильинична. — Я там не была. Но я тебе верю.

Она развернулась ко мне на стуле.

— Тёма. Егор Ступин на муниципальном не решил ни одной задачи на колебания. А тут — десять из десяти за маятник, который не решил никто в области.

Я молчал. Внутри было то самое: замереть и стоять.

— Я запросила копии, — сказала она. — Имею право как педагог-наставник. Завтра пришлют.

* * *

Копии пришли по электронной почте через три дня. Тамара Ильинична положила распечатку передо мной на парту.

Работа под шифром, который был закреплён за Ступиным. Мой почерк. Мои четыре задачи. Моя пятая. И на рисунке к пятой — нитка, гвоздь и шестигранная гайка с резьбой внутри.

Я смотрел на неё долго. Моя гайка. Дедова гайка. Под чужой фамилией.

— Титульные листы перепутали, — сказала Тамара Ильинична очень ровно. — Случайно, конечно. Шифр с твоего титульного листа приклеили к его фамилии, а его работа — потерялась. Работы в конверты складывает сопровождающий от района.

Сопровождающим от района была Лариса Геннадьевна.

— Я напишу в комиссию, — сказала Тамара Ильинична. — Апелляцию. Эту гайку ты рисуешь с сентября, у меня все твои тетради. Я покажу.

Она написала три страницы мелким почерком, с ксерокопиями моих тетрадей, где на каждой странице висели гайки, и в пятницу отправила в Тверь.

В понедельник её вызвали к директору.

О чём там говорили, я узнал только по обрывкам. Говорили, что директор Олег Петрович сказал ей, что апелляция подаётся в течение двух дней после объявления результатов и срок прошёл. Что комиссия не будет рассматривать «рисуночки». Что Лариса Геннадьевна очень расстроена «этими инсинуациями» и что Егор — хороший мальчик и заслужил. Что школе нужен призёр региона, и он есть, и какая разница, какая фамилия, школа-то одна. И что Тамаре Ильиничне шестьдесят один год, она работает пенсионеркой на продлённом договоре, и договор продлевается каждый год в июне. Каждый год. Решением администрации.

Смысл в Ржавске всегда доходит лучше слов.

Апелляцию она отозвала через два дня.

* * *

Она позвала меня в кабинет физики в четверг, в наш обычный день. Чай с лимоном стоял на столе. Ньютон смотрел в суп.

— Тёма, — сказала она. — Сядь.

Я сел. Она не садилась. Стояла у окна, у своих нецветущих кактусов, и смотрела во двор, где пятиклашки кидались снегом.

— Я отозвала, — сказала она. — Ты знаешь, наверное.

— Знаю.

— Я должна была довести. Я знаю, что должна была. Я… — Она сняла очки, и без них её лицо стало совсем маленьким, как у девочки. — Мне некуда идти, Тёма. Мне шестьдесят один. У меня муж лежачий после инсульта. Если меня не продлят, я буду сидеть дома и смотреть в стену. Здесь у меня кабинет. Здесь у меня… ты. И другие.

Она заплакала. Тихо, не закрывая лица, просто слёзы текли по щекам, и она их не вытирала. Учителя не плачут перед учениками, это я знал твёрдо, как закон сохранения энергии.

— Прости меня, — сказала она. — Пожалуйста. Это твоё. Это было твоё. А я не смогла.

Я смотрел на неё. Я мог сказать, что она трусиха. Что она такая же, как все. Что она сама говорила: нарисуй. Я нарисовал.

Я подумал: у неё муж лежачий. У неё кактусы, которые не цветут сорок лет, а она их всё равно поливает. Она была единственная, кто меня видел. И ей было страшно. Так же, как Лёхе. Так же, как маме. Всем было страшно, и все выбирали, куда спрятаться, и никто — никто — не прятался за меня. Я был тем, за кого не прячутся. Я был тем, кто понимает.

— Ничего, — сказал я.

Это было самое взрослое слово, которое я тогда знал. Оно ничего не значило и закрывало всё.

Она обняла меня. Неловко, через парту. От неё пахло лимоном и мелом. Потом отпустила, надела очки и сказала обычным голосом:

— В следующем году попробуем ещё раз.

— Попробуем, — сказал я.

Мы оба знали, что нет.

* * *

Егору Ступину вручили грамоту на линейке. Фотографию повесили на стенд «Наша гордость» на первом этаже, рядом с плакатом про День народного единства, который так никто и не снял. Егор на фотографии выглядел сонным и немного виноватым. Он знал, я думаю. Ему было неприятно. Но не настолько, чтобы отказаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.